

Г. САДУЛАЕВ*

Жизнь на Капри**

— С тех пор как я узнал Наоми, земные женщины мне совершенно неинтересны.

В зале ожидания чистого, ровного, серого до блистательной синевы, отлаженного как часы, идеального, как преддверие рая, аэропорта одной из европейских столиц сидели двое мужчин, старый и молодой. Они сидели за столиком в кофейне зоны отлета, перед ними стояли чашки с чем-то вроде кофе: такой формальный заказ делают для того, чтобы официант отвязался и не мешал разговаривать. Разговаривал старый, молодой слушал.

Старому было на вид хорошо за сорок. Он был одет в синие штаны необязательного покроя и в белую рубашку-поло, расхристанную на все пуговицы. На ногах, одна из которых была закинута

* *Герман Умаралиевич Садулаев* (р. 1973) — российский писатель, политический деятель, журналист. В 2010 г. вступил в КПРФ.

** *Очарованный остров: новые сказки об Италии* (сб.). М.: АСТ; Москва: Corpus, 2014.

на другую, красовались мягкие фиолетовые туфли, слегка поношенные или искусственно состаренные: есть модели обуви, которые специально делают так, чтобы их возраст было невозможно определить. Сам мужчина был поношен изрядно, и, кажется, вполне естественным образом — течением лет. Особенно потасканным выглядело его лицо, обожженное средиземноморским загаром, украшенное морщинами и едва заметными рубцами на лбу. Щетина на подбородке была трехдневной, но, может, и недельной, однако аккуратно подстриженной до стандарта трех дней. В общем, он выглядел как бывалый яхтсмен. Или как человек, который старается выглядеть как бывалый яхтсмен, и ему это удается.

Молодой был едва тридцати лет. Одет в костюм — итальянский или вроде того, светлую рубашку в тонкую полоску, рукав виднелся на два пальца из-под обшлага, галстук на тон ярче костюма, ботинки черные. Верхняя пуговица рубашки была расстегнута, а узел галстука ослаблен. У молодого были слегка полноватые, розовые от природного румянца щеки, губы цвета незрелой вишни были припухлые, но в меру, а шея белая как молоко.

Широкий нос, узкие губы и общая непропорциональность в чертах лица отличали старого. Его можно было назвать некрасивым, если бы не глаза. Глаза у него были крупные и словно бы затянутые дымчатой поволокой. Про такие глаза говорят: печальные и умные как у собаки. Есть женщины, которые влюбляются в одни только такие глаза, не обращая внимания на прочую внешность. Наверное, им кажется, что такие глаза не могут принадлежать человеку расчетливому и циничному, а свидетельствуют, напротив, о тонкой душевной организации. Видимо, дело в особом строении сетчатки.

Молодой был внешне милым, симпатичным, но без излишней слащавости, которая только портит мужчин. Красота его была не точеной, не писаной, но простой и природной красотой свежести и здоровья. Вот только глаза сидели глубоко и были мелковаты, что создавало впечатление одномерной натуры, почти всегда, впрочем, обманчивое.

Трудно сказать, что могло связывать двоих мужчин. Едва ли это была случайная встреча в аэропорту. Не были они похожи и на привычных друг к другу родственников или давних знакомых. Можно предположить, что между ними были деловые отношения и старый был старшим партнером в бизнесе, а молодой младшим; причем совсем не обязательно согласно размеру пакета акций, а может, и вопреки размеру пакета акций, но из-за возраста, опыта и личных качеств каждого. Иногда в такой ситуации старший становится не только в деле, но и в жизни доброжелательным наставником младшего.

Молодой выглядел несколько растерянно и удрученно, как если бы у него была какая-то личная неурядица, обычная для его возраста: несчастная любовь или иные романтические переживания. А старый рассказывал молодому историю из своего личного опыта или придуманную, но поданную как история из личного опыта, рассказывал в дидактических целях и в качестве дружеской психотерапии. От старого и прозвучала эта первая странная фраза. И все дальнейшее повествование.

* * *

С тех пор как я узнал Наоми, земные женщины мне совершенно неинтересны. Это случилось летом на Капри. Капри — остров неразбавленной *dolce vita*, остров праздности, но я был там в некотором смысле по делу.

Я зарабатываю прилично даже по европейским меркам. Если говорить о среднем классе. Не превосходный, но хороший врач-дантист, или юрист, специализирующийся на бракоразводных процессах не звезд, не миллиардеров, но вполне обеспеченных людей, которым есть что делить, владелец небольшого магазина или заведения питания, работающего по франшизе, — каждый из них после уплаты налогов имеет доход примерно такой же, какой имею я. Однако наш бизнес в России никак нельзя назвать respectable. К тому же довольно сложно объяснить вежливо интересующимся иностранцам, как именно мы зарабатываем деньги. Поэтому обычно я говорю, что занимаюсь гуманитарными исследованиями — *humanitarian researches*. Это снимает все вопросы. И в любой случайной компании гарантирует умеренное почтение и невмешательство в мои дела. А ничего другого мне и не нужно.

Но изыскания в области литературы, философии и истории — не только удобная легенда. Я действительно занимаюсь наукой при каждой возможности. Мне нравится. И этим я оправдываю свое существование. Иначе мне пришлось бы признать себя еще одним примитивным мелким паразитом в ряду прочих паразитов на теле страдающего человечества.

На Капри меня привела старая фотография, датируемая 1908 годом. Я наткнулся на нее случайно в одной из книг про Максима Горького, где эта фотография была в ряду прочих иллюстраций. Снимок сделан на вилле Круппа, первой вилле, которую занимал Горький после приезда на остров в 1906 году. Этому предшествовало скандальное выдворение из пуританской Америки, где не признали право Горького проживать вместе со своей неофициальной женой. Мягкая Италия встретила влюбленных

лепестками роз. И Капри, каменный нарцисс, распустился навстречу солнцу русского гения. И так далее. А русский гений, не теряя времени, занялся на Капри своей обычной работой: исследованием головокружительных глубин человеческой души и подготовкой мировой революции.

На фотографии мы видим Ленина, который играет с высоким благородной внешности товарищем в шахматы. И Максима Горького, который сидит рядом, со стороны Ленина, и наблюдает за шахматной партией, улыбаясь в усы. Товарищ напряженно всматривается в доску с фигурами. А Ленин зеваает. То ли ночь выдалась бессонная, то ли слишком легко и скучно ему обыгрывать своего импозантного, но не слишком умного соперника.

Этот красивый товарищ — Александр Богданов. Настоящая его фамилия была Малиновский, а Богданов — наиболее известный псевдоним, другими псевдонимами были Рядовой, Максимов и Вернер. Впрочем, Ленин и Горький — такие же псевдонимы. Литературные псевдонимы смыкались с конспиративными кличками и подменяли одни другие, пока не стали политическими титулами. В начале XX века огромной страной правили люди под псевдонимами. Такого никогда раньше не было и, вернее всего, никогда больше не будет в истории человечества. И я не говорю, хорошо это или плохо. Мне просто любопытно время, когда все грани между литературой, философией, жизнью, политикой, тюрьмой, каторгой, славой, ссылкой и безграничной властью были зыбкими и условными, когда имена испарялись и выпадали пеплом прозвищ и псевдонимов, а тюремные клички превращались в боевой клич и отливались в бронзе. Это было движение тектонических плит, кипение магмы, извержение вулкана: все то, что сформировало наш теперешний социальный ландшафт. Теперь эти скалы стоят там, где стоят, и ничто не сдвинет их с мест, пока не случится новая великая революция.

Остров Капри когда-то был частью материка. Геологи утверждают, что он не вулканического происхождения. Здесь никогда не плескалась лава. Только морские волны точили мирный беспомощный известняк, вырезая в береговой линии пещеры и фьорды. Зато отовсюду на острове виден стоящий на берегу Неаполитанского залива Везувий, спящий чутким сном и раз в полвека поднимающий одеяло Земли.

В номере отеля, где я остановился, точное имя его «La Certosella» (я люблю точность во всем, что только можно назвать и измерить в этом мире хаоса, точность меня успокаивает), в прихожей, напротив двери в ванную комнату, висит репродукция картины про извержение Везувия. Я не нашел оригинала ни у Джо-

зефа Райта, ни у Юхана Кристиана Даля. На самой репродукции нет никаких имен и дат. Возможно, эта картина принадлежала кисти малоизвестного автора. По парусным лодкам и некоторым деталям берега я определил для себя, что, скорее всего, нарисовано извержение 1822 года. Менее вероятно, но тоже возможно, что сюжетом картины стало следующее пробуждение Везувия, которое случилось в 1872 году. Картина живая и яркая. Но самое интересное — это точка обзора. Художник показал извержение Везувия так, как оно виделось с острова Капри. Через залив. Красиво и безопасно. Мне подумалось, что с такого места, как известняковый Капри, хорошо было любоваться и вулканами социальных революций на пылающем материке.

Нисколько не осуждаю Богданова, Горького и иных. Напротив. Чтобы написать картину вулкана, нужно, чтобы художник был в относительной безопасности. Никто не сможет закончить свое полотно, если посередине творческого процесса прилетит от вулкана горящая бомба и ударит художника по голове. У нас, у русских, есть эта неприличная злая зависть к таланту, которая мешает истинному расцвету благотворительности и меценатства в нашей стране. Мы хотим, чтобы художник был непременно, как мы, голоден и зол. А еще лучше, чтобы ему было гораздо хуже, чем нам. Чтобы он был еще голоднее и злее, вот тогда, дескать, он прочувствует правду-матку. Потому меценатство у нас считают за преступление против высокого нищего искусства. А состоятельному автору не принято доверять.

Однако те же мы привычно сетуем, что вот, мол, какое у нас искусство бедное и злое. Какое мрачное и беспросветное. Какая у нас везде и всюду непобедимая достоевщина. Какая подвальная сырость и низкие бетонные своды в каждом русском фильме или романе. И никому не приходит в голову спросить: «А чего еще мы можем желать от художника, который, бедный и злой, живет в сыром подвале и потолок у которого низкий, рукой достать?» И ведь сами мы его туда поселили ради правды жизни. Вот он и пишет правду, которую знает. А другие из нас, они под солнечным небом на белой яхте или в хорамах под облака, да только они не могут написать ни строчки, чтобы это не было пошло и тошнотворно. И, привычно поругав родную «чернуху», идем впитывать заморский светлый мир искусства, где не принято художнику завидовать и никто не осуждает тебя, если ты дашь художнику хлеб и оливковое масло, и пусть пишет. Никто не спросит художника злобно: «Откуда у тебя хлеб и масло?» Никто не скажет меценату: «Зачем дал художнику? Лучше бы дал нищему! Или мне! Или никому лучше не давай, только не дай художнику, потому что испортишь его чистый голодный глаз!»

А разве испортишь художника хлебом и маслом? Нет. Но голодом, голодом испортишь художника. Так, что плюнет он на свое ремесло и пойдет ловить рыбу, вместо того чтобы ловить человекoв.

Известный биограф всех-великих-русских-писателей замечает, что пролетарский певец Горький в Неаполе остановился в шикарной гостинице. А жил потом на Капри, который был самым дорогим курортом в Италии. И удивляется, почему в Италии это никого не удивляло? А меня удивляет, почему это должно было в Италии кого-то удивить? Я удивляюсь: чему тут удивляться? Тут не удивляться нужно, а радоваться. Если это хороший пролетарский певец, так пусть он живет в хорошей гостинице и на хорошем острове пусть живет. Если он пролетарский певец, так что теперь, обязательно ему жить в лачуге? А во дворцах, значит, могут жить только буржуазные певцы? Что это за врожденная привилегия буржуазии? Нет, дорогие! Пролетарская революция, она в том и состоит, что хороший пролетарий будет жить во дворце с другими хорошими пролетариями, а паразиты буржуи, бесполезные и вредные обществу, — вот они пусть и живут в лачугах и грызутся там за свои никому не нужные устаревшие «акции» и «деньги», как бомжи за пустые бутылки, потому что только так встанет над землей заря коммунизма, а не иначе.

В Италии все это если не понимали, то чувствовали очень хорошо. Поэтому Горького осыпали лепестками роз. А Горький использовал свое положение для общей пользы. В частности, вместе с Богдановым и Луначарским устроил на Капри революционную школу для продвинутых представителей рабочего класса. Мне из этой компании более всего был интересен Богданов. Ради Богданова я и прибыл на остров Капри.

Конечно, моя история не про Богданова, а про Наоми. Потому что всякая история должна быть про любовь, иначе в истории нет ни пользы, ни смысла. Но мне трудно рассказывать про Наоми. Ведь я, в сущности, почти ничего про нее не знаю. Гораздо легче рассказывать про Богданова. Мне кажется, что я знаю про Богданова больше, чем про Наоми, хотя Богданов умер за сорок лет до моего рождения, а с Наоми я был знаком лично, даже близок, и прожил вместе с ней на Капри целую жизнь, уместившуюся в пять дней.

Начиналось все в кафетерии рядом с остановкой кабельного вагончика, который поднимает пассажиров от порта Marina Grande к центру городка Капри. Была ночь, я сидел за столиком на улице и смотрел на светящуюся гирлянду дороги, привешенную к горе на другой стороне бухты. Зрелище меня завораживало, и я ловил какой-то необычный «приход», если вы понимаете, о чем я гово-

рю. Я прибыл на Капри за день до этого и успел уже обустроиться: изучил окрестности отеля, нашел недорогой ресторан с хорошей пастой, супермаркет с винами и сырами, маршруты коротких прогулок и площадки для созерцательного уединения, а также посетил пару мест по своей научной программе. В целом я был доволен, хотя и устал, и теперь просто отдыхал. Кафетерий был пуст: вся публика шумела неподалеку в ресторанах и барах знаменитой Piazzetta — самой маленькой и самой заполненной городской площади в Европе.

Я что-то пил, кажется, зеленый чай, и в положенный срок у меня возникла естественная надобность. Я вошел в кафетерий и направился к двери уборной, которая была в глубине помещения, слева от стойки бара. Там я и встретил Наоми. Прямо у двери. Она вывалилась из туалета в зал кафетерия, слегка пошатываясь и вращая глазами. Поравнявшись со мной, она споткнулась, и я едва успел подхватить ее на руки. У меня вырвалось по-русски:

— О Господи! Вам плохо?

И тут же я подумал, что она наверняка не понимает по-русски, и сказал ей что-то на английском языке. Потом на немецком. По-итальянски я не знаю ни слова. Но девушка, утвердившись с моей помощью на ногах, ответила по-русски:

— Ничего, все нормально. Господи, как они тут на этих ходят!

Она смотрела на свои красные туфли с длинными тонкими каблуками. Выше туфель на ней было легкое зеленое платье, стилизованное под тунику, с золотой вышивкой и без пояса. Волосы на голове были собраны в кичку. Наряд был вполне продуманный и вечерний. Но девушка чувствовала себя как-то неуверенно, словно одевалась случайно и впопыхах.

— Хорошо бы присесть.

Она говорила по-русски с акцентом, который я определил как среднехорватский, что бы это ни значило.

Свою нужду я забыл, мы вышли на улицу, я придерживал ее за руку, подвел к своему столику, хотя вокруг было полно других, пустых, и предложил кресло — в данном случае пластиковый стул. Она присела, и я спросил, где ее друзья. Она сказала, что никого нет, она здесь одна. Ей было немного плохо. Тошнило. Но теперь все в порядке. Я спросил, откуда она. Она почему-то показала пальцем вверх и сказала:

— Оттуда. Я только что упала.

— В смысле прилетела?

— Прилетела, да. Сверху вниз.

Она засмеялась.

Потом она посмотрела на открытую кожу своих рук и ног под короткой туникой и воскликнула с непритворным изумлением:

— О ужас! Как я обгорела! Пока падала.

Она действительно была очень темной. Но я не мог понять при ночном освещении, загар это или она мулатка. В любом случае внешностью и акцентом она никак не походила на русскую, и я спросил, откуда она знает русский язык.

— Выучила, — ответила она серьезно.

— В университете? Вы славистка? — подсказал я.

Она задумалась на несколько секунд. Потом сказала:

— Да, пожалуй, я славистка.

И еще через пару секунд добавила:

— Это ты хорошо придумал.

Позже, когда она представлялась в различных компаниях, при мне и без меня, она так и называла себя — славистка: «Я — славистка». Похоже, для нее это стало тем же, чем для меня мои «гуманитарные исследования». О настоящей ее профессии я мог только догадываться. Мог. Но не хотел. Я думал: «Какая, в самом деле, разница?»

Она сказала, что ей надо устроиться, и попросила помочь. Я подумал о том, что она могла бы прекрасно устроиться вместе со мной в моем двухместном номере, где я жил один. Но вслух предложить это постеснялся. Хотя теперь понимаю, что зря. Она бы не оскорбилась, не удивилась и не обиделась. С ней все было просто. Но тогда я еще этого не знал и спросил, где ее багаж и есть ли у нее документы. Про деньги я спрашивать не стал, это было бы совсем неприлично. Она беспомощно пожала плечами и сказала:

— Не знаю!

Я сказал:

— Может, в сумочке?

У нее через плечо висела маленькая дамская сумочка-клатч, красная — в тон туфлям. Она хлопнула себя по лбу и открыла сумочку. В сумочке нашлись паспорт, пачка купюр и пара золотистых кредиток. Я не посмотрел в ее паспорт. Снова постеснялся. Поэтому я даже не знаю, как ее на самом деле зовут. Она представилась, но на слух ее имя было очень сложным. Я попытался повторить и произнес:

— Наоми?

— Да, Наоми. Пусть будет Наоми. Мне нравится, — сказала она.

Я сказал, что отель, где я живу, недалеко отсюда. И, кажется, там есть свободные номера. Она сказала: «Прекрасно, пойдём!» Мы пошли. Я придерживал ее за руку. Но только до первого пункта с муниципальными контейнерами для мусора. Наоми остановилась, внимательно изучила инструкции по разделному сбору мусора

на каждом из контейнеров, а затем, выбрав наиболее подходящий, сняла туфли и выбросила. После этого она пошла босиком, легко и спокойно, и моя поддержка ей больше не требовалась.

На следующий день мы первым делом пошли в обувную лавку, где мастера, используя заготовки подошв и ремешков, вяжут сандалии прямо на ноге. Наоми села и подала свою маленькую ступню. Обувщик дотронулся до Наоми и впал в транс. В трансе он сплел для Наоми обувь точно по размеру, и, когда мы ушли, он продолжал сидеть в состоянии просветления, покачиваясь, улыбаясь и мыча.

У нее была волшебная кожа.

Сказать, что Наоми была красива, значит ничего о ней не сказать или солгать. Наоми была не красива, она была идеальна. Что такое женская красота? Чаще всего это степень приближения к какому-то стандарту. К исторически изменчивому стереотипу «красоты». Стандарт всегда формален, поэтому следование ему всегда искусственно. То есть это искусство. Все образы, которые мы почитаем за воплощения современных нам представлений о красоте, на 80 процентов созданы не природой, а дизайнерами, стилистами и особенно фотографами. Они всегда дают нам тот ракурс, с которого модель выглядит как ее запланированный образ, а другого ракурса никогда не дают. И когда мы встречаем эту модель или актрису в жизни, то узнаем, что она выглядит как лягушка. И испытываем разочарование. Я уже не говорю о том, что земные женщины имеют на теле волоски, не всегда приятные, поры, из которых сочится пот, разные неровности, пятна и шероховатости — все то, что стирает глянец. Глянец продает нам образ небесной девы, которой нет в жизни, никогда не было и не будет. Модель для фотографа то же самое, что натурщица для художника, — не менее, но и не более. Он берет податливую глину и создает образ, соответствующий его извращенным представлениям о красоте. Но даже этот образ — не настоящая красота.

Настоящая красота не зависит ни от какого формального стандарта. Настоящая красота сама себе является критерием и мериллом. У Наоми были женские бедра, слегка широковатые по представлениям геев-фотографов и дизайнеров-педофилов. У Наоми был смешной вздернутый носик. И Наоми была по-настоящему красива, то есть идеальна. А если вы видели вблизи ее кожу или могли к ней чуть прикоснуться, то все вопросы устранились. Она была самой красивой здесь, на нашей планете. Она была неземной. Идеальной. И не только внешне.

Наоми понимала, что у меня на острове есть дела. И сказала, что хочет погулять одна. И отправилась гулять одна. А я отпра-

вился изучать Богданова. Она не капризничала, я не обиделся, не нервничал, не ревновал, вообще не беспокоился. Я был уверен, что все хорошо. Наоми гуляет, я занимаюсь делом. Все в порядке.

Потому что Наоми была идеальной женщиной. Идеальная женщина не вытягивает внимание на себя, не выжимает всю твою энергию до последней капли, не ввергает в отчаяние твой мозг. Идеальная женщина создает ощущение покоя, с ней мужчина может заниматься своим делом, а не бегать вокруг нее на задних лапках, как мопс. Это удивительно! Я только что познакомился с самой прекрасной женщиной на планете, мы подружились, у нас завязались многообещающие отношения! И я, совершенно не волнуясь по этому поводу, отпустил ее гулять, а сам отправился изучать Богданова.

* * *

В 1909 году вышла в свет философская книга «Материализм и эмпириокритицизм». В качестве автора на титуле значился некий Вл. Ильин. Это псевдоним. Псевдоним того же самого человека, который более известен под другим псевдонимом — Ленин. Вся книга посвящена разоблачению А. Богданова и прочих «русских махистов» как скрытых идеалистов, отступников от марксизма и диалектического материализма. Философский уровень работы Ленина низок, полемический накал высок. Ленин постоянно обзывает оппонентов всеми возможными обидными словечками. Говоря по-нашему, «жестко троллит». Но ради чего?

Я давно задумывался: что заставило Ленина, практического политика *par excellence*, заняться критикой чисто теоретических установок, гносеологии и прочих мудреных вещей, слабо связанных с политической жизнью? А ведь «Материализм и эмпириокритицизм» — главный, если не единственный, чисто философский труд основателя советского государства. Неужели так опасны были махисты?

Познакомившись с Богдановым, я понял: да. Богданов был для Ленина опаснее, чем все остальные опасности, вместе взятые. И сколько бы усилий ни прилагал Ленин для опровержения Богданова, никакие усилия не могли быть чрезмерными, а все были недостаточными. И Ленин в итоге проиграл. И сам Ленин понимал, что в итоге обязательно проиграет Богданову. Ленин знал, что у него нет против Богданова никаких шансов, потому так нервничал и писал столько обидных слов. В книге «Материализм и эмпириокритицизм» каждая строчка сочится, как кровью, безграничным отчаянием.

Богданов-Малиновский состоял в центральном комитете большевиков. Они были дружны с Лениным с 1904 года. Но вскоре

Ленин понял, что от Богданова нужно избавиться. В 1908 году Ленин на Капри переиграл Богданова в шахматы, а в 1909 году издал критическую книгу, которой поставил «богдановщину» вне закона для истинных большевиков, вывел Богданова из ЦК, а потом и вообще из партии. Богданов плохо играл в шахматы и в политику. Он пытался организовать собственную фракцию «Вперед!», которую Ленин легко разгромил. Богданов не стал упираться, он ушел из политики и даже из философии, которая оказалась политически значима. Богданов занялся своей придуманной наукой «тектоникой» — об организации всего, писал фантастические романы, «Красная звезда» и так далее, после революции вдохновлял Пролеткульт, а после того как и Пролеткульт был разгромлен, занялся медициной — по своей первой специальности. Открыл институт переливания крови. И вскоре умер от неудачного эксперимента по переливанию крови, поставленного на самом себе.

Некоторые полагают само собой разумеющимся, что идеи Ленина выиграли, а идеи Богданова проиграли. Эти люди ничего не смыслят в борьбе идей. Они полагают, что борьба идей сводится к борьбе между людьми, носителями идей. Но это величайшее заблуждение.

Идея не является принадлежностью какого-либо человека или группы людей. Идеи используют людей как футляры. Иногда футляры думают, что какая-то идея победила другую идею, потому лишь, что футляры — носители первой идеи победили футляры — носители второй идеи. Но это только война футляров, никакого отношения не имеющая к противостоянию идей. Идея — совершенно иная форма жизни, нежели человек или вообще любое биологическое создание. И в этом идеи подобны вирусам.

Вирус — так называемая неклеточная форма жизни. Никакими признаками обыкновенной клеточной жизни вирус не обладает. Вирус никогда не умирает, потому что он, собственно, никогда и не жил. Вирус — это не сама структура вируса в веществе, а идея структуры вируса. В отличие от настоящей жизни вирусу совершенно безразлична судьба любого тела, то есть живого вещества. В нас, многоклеточных организмах, «колониях из миллиардов клеток», как определял человека Богданов, может присутствовать частичка вещества, пришедшая к нам через миллионы лет от далеких предков. Наши коды зашифрованы в веществе и передаются только вместе с веществом. Так мы размножаемся, распространяем свое вещество.

Вирус не размножается. Репликация вируса — это перенос идеи его структуры на другое вещество без переноса самого веще-

ства. Само вещество вирусу нужно только затем, чтобы временно хранить идею, конфигурацию вируса, до репликации на новое вещество. Никакой самостоятельной ценности у вещества нет. Никаких «детей», «родителей» и прочей семьи у вирусов нет. Вирус — это чистая идея, без тела. А идея — это вирус.

Идея «живет» в человеке, идея использует человека для того, чтобы сохраниться и реплицироваться в как можно большее количество копий, а после без сожаления оставляет человека. Идее все равно, «победил» человек или «проиграл», она не заботится о его судьбе. Ее цель — безграничная репликация. Ее бытие — постоянная мутация, подобная мутациям вируса.

Иногда целые государства становятся «телом» идеи. И другие государства, пытающиеся истребить пугающую их идею, борются с такими государствами и побеждают. Они разоряют побежденные государства и расчлениают на части. И думают, что теперь уже совершенно победили идею. Они не знают, что убили больного чумой, но не саму чуму. И, сев пировать на останках поверженного врага, они даже не думают о том, что с каждым куском его мяса они отправляют в себя бесчисленные вирусы его болезни. И тем более им не понять, что само поражение и гибель прежнего носителя, ослабшего от болезни, было частью плана идеи по проникновению в здоровое тело врага.

«Жизнь» идеи невероятно интереснее и богаче жизнью людей, даже тех, кого идеи избирают временными носителями.

Богданов в своем ответном на критику Ленина трактате подметил, что Вл. Ильину, то есть Ленину, не так важно, является ли философ по сути учения диалектическим материалистом, как важно то, что он себя называет диалектическим материалистом. Сам Богданов относился к такой подмене отрицательно, но богдановская идея использовала эту уловку. В будущем все истинные богдановцы называли себя «истинными ленинцами» и тем обеспечивали себе выживание и возможность претворения своих теорий в государственную практику. Никаких иных «истинных ленинцев», помимо богдановцев, никогда не было и не могло быть. Хотя бы потому, что никто, никогда, даже все вместе «столицот» кафедр марксизма-ленинизма в СССР так и не смогли выяснить, в чем собственно состояло учение Ленина, ленинизм. В плане философии Ленин не заявил ничего нового, поскольку был всего лишь прилежным учеником, если не сказать эпигоном, Плеханова, который, в свою очередь, был не менее прилежным компилятором немецких философов, от Канта до Маркса и Энгельса. Во всех остальных отраслях знания и литературы Ленин был практически политиком и свои теоретические воззрения подстраивал

под тактические требования момента. В этом смысле и сам Ленин был богдановцем, так как именно Богданов заявлял, что нет истины как догмы, а есть процесс постижения. Не было у Ленина своего учения, и ленинцев он не мог наплодить.

А вот у Богданова философия была. Настоящая «теория всего», объясняющая все на свете. И по-настоящему русская. Хотя Богданов и отталкивался в своей философии от Маха и Авенариуса, но именно что отталкивался, а забрел в такие дали, которые и не снились его учителям. Тогда как Плеханов и прочие боялись пройти и полдороги, которую осилили их учителя, Маркс и Энгельс. Богданов придумал свою «тектонику» как базу всех наук, естественных и социальных. Ключевое слово его учения — «организация». Даже истина у Богданова — это форма организации коллективного опыта. А в социальном ключе базис «богдановщины» можно сформулировать так:

Человечество *может* быть сознательно и разумно *организовано*, следовательно, *должно* и *будет* сознательно и разумно *организовано*.

Эта идея далека от «классического», «научного» марксизма, как и от прочих догм о примате экономики и прочих «объективных» факторов над субъективными представлениями с выводами об ограниченности возможностей для социального конструирования. Зато смыкается с русским учением о ноосфере Вернадского, с русским страшным философом воскресения во плоти Николаем Федоровым и общим течением настоящей русской философии, которое состоит не в маргинальном бердяевском упадничестве, а в прозрении о неведомой безграничной силе пробужденного и правильно организованного сознания. Это и есть то, что русский интеллигент понимал под словом «социализм».

Все русские титаны социализма были богдановцами. Горький был богдановцем, им и остался, даже притворяясь ленинцем. Луначарский был богдановцем и остался, даже отрекшись от имени Богданова, пока трижды не пропел петух. Богдановцы организовали Госплан и плановую экономику. Богдановец Хрущев сажал кукурузу, а богдановец Андропов сажал взяточников. Создали СССР и сделали его могущественным богдановцы, и богдановцы его разрушили, когда, начитавшись в своих богдановских НИИ богдановцев Стругацких, решили, что СССР *недостаточно* разумно *организован*.

Суть и тайну русской литературы двадцатого века поймет тот, кто увидит, что Венедикт Ерофеев — это тот же Андрей Платонов, богдановец. Но уставший. Дайте ему отдохнуть. Напоите его живой слезой комсомолки. Отвезите его в Петушки, туда, где не отцветает

жасмин. Он отдохнет и воспрянет. Встанет и устроит правильную, *организованную* жизнь для себя и всего вокруг.

Кроме «богдановщины» в русской литературе была еще одна линия: пессимизма и декаданса. Ее главная мысль состояла в том, что ничего никогда не получится. Человек плох, а русский человек еще хуже. Все обернется ко злу. Поэтому лучше было бы ничего не менять, не трогать, а жить при царе, как раньше. Играть на роялях, ходить в театры, ловить бабочек и в меру жалеть чернь. Это титаны Бунин, Булгаков, Набоков и далее до перестроечных пигмеев.

Никто не был прав, и никто не виновен. Люди жили и умирали, некоторые создавали гениальные произведения, другие нет. Все влюблялись и разочаровывались. Каждый страдал. А идеи продолжали собственное независимое бытие. И, как всегда, во многих мудрости было много печали. Печально было Ленину понимать, что сколько бы ни побеждал он Богданова в шахматах и в интригах, а все равно идеи Богданова будут побеждать в той стране, которую создаст Ленин, отдав этому свою душу, и умрет Ленин совсем без идей, как пустой футляр, и останется только имя, как оболочка, а внутри всеильным червем будет жить вечный Богданов.

* * *

Идеальная женщина умна. Но ум ее легок, не тяжел. Она понимает все, что говорит мужчина. Однако она умеет оттенить мужское умствование своей легкомысленной репликой так, что самые чугунные построения приобретают ажурную невесомость.

Мы с Наоми поставили себе целью пройти все пешие маршруты, обозначенные на туристической карте острова. И первым было восхождение по Финикийской лестнице — La Scala Finicia. То ли 800, то ли 900 с гаком ступеней, древняя пешая дорога между городками Капри и Анакапри. О, это была трудная дорога! Вообще-то туристы поднимаются вверх на автобусе, а лестницу используют для спуска. Но мы сделали наоборот. Я преодолевал ступень за ступенью, обливаясь горячим потом. Кожа Наоми тоже сочилась какой-то жидкостью, пахнущей жасмином. Вдоль дороги нам часто попадались алтари в нишах стен и выемках скал. Обычно в центре композиции находилась статуя Девы Марии. Попадался и Христос в разных обликах. Или даже сразу в нескольких: от младенца на руках Богородицы до распятия.

Я остановился около одного из алтарей, чтобы сделать передышку, и вслух подумал о том, что средиземноморская религия — объемная, чувственная, телесная. Поэтому в храмах и на алтарях чаще встретишь не иконы, а скульптуры — объемные образы

божества. И сделаны они так, что передают телесные чувства. И распятие — это мука настоящая. И в раны Христа можно вложить персты. И Дева Мария, хоть и непорочная, а мать любящая, изначальная. И Бог — отец. Даже Святой Дух опознается в форме, в теле, голубем, например. Вера средиземноморских католиков не оторвана от вещества жизни. А дальше, на восток, через Византию к России, исчезают статуи, преобладают иконы. Восприятие плоское, бестелесное. За двухмерностью иконы стоят множественные измерения духа, но тела больше нет, оно иллюзорно, и вещество жизни не имеет значения, важна только идея. И вот Богданов, живший на Капри, здесь обдумывает свою «тектонику». Размышляет о веществе жизни. И формулирует, что сохранение и приумножение вещества жизни есть главная цель любого действия и критерий истины. А не какая-нибудь идея. Он говорит, что все идеи второстепенны перед веществом жизни. Что истина в смысле любой «истинной» идеи — временное понятие, а настоящая истина, правда и справедливость только в жизни, в живом веществе, в его сохранении и приумножении. Однако эта красивая формула сама была идеей. Очень живучей. Которая переживет много жизней и угробит много живого вещества. Но Богданов об этом не знал. Ему было удобно здесь размышлять, на Капри, в Средиземноморье, посреди объемной и телесной веры. Такой нет в России. Что-то похожее есть в Индии, там божества объемны, есть и скульптура, и чувства...

— Ты был в Конарке? — спросила меня Наоми.

Я был в Конарке, у храма Солнца, который построил внук Кришны несколько тысяч лет назад или какой-то раджа несколько сот лет назад, а теперь храм полуразрушен и засыпан внутри песком, его засыпали песком англичане, говорят, для сохранности, но звучит фальшиво, и тысячи туристов приезжают посмотреть на храм снаружи, полюбоваться на барельефы, изображающие в том числе небесных танцовщиц — апсар.

— Я тоже была, — сказала Наоми. — Я позировала.

Она встала к скале и шутиливо изогнулась, подражая позам апсар на барельефах, и на мгновение мне показалось, что она сама стала объемным изображением на скале — с преувеличенно широкими бедрами и налитой грудью, этими магическими символами, призывающими плодородие, и я не мог не поверить, что она, Наоми, позировала сотни или тысячи лет назад неизвестному скульптору, вырезавшему барельефы Конарка.

— Вишвакарма, — сказала Наоми. — Его зовут Вишвакарма, этого скульптора. И он довольно известен. Хотя, конечно, больше там, чем здесь.

Она дернула подбородком, показывая куда-то вверх.

Любой мужчина, когда видит фотографию обнаженной красавицы, задумывается над вопросом: было ли что-то у фотографа с моделью? Ну было ведь. Не могло не быть. Однако я не успел ничего такого подумать, тем более спросить. Тем более про Вишвакарму. И про барельефы, которым не то сотни, не то тысячи лет. Наоми опередила меня. Она сказала:

— У нас с ним было трое детей.

Затем она приблизилась ко мне и, словно желая утешить и предугадать мои возражения, провела по моим губам пальцем и сказала:

— Не печалься. У тебя тоже все будет.

Когда мы забрались на самый верх и стояли на обзорной площадке одни и смотрели с головокружительной высоты на бухту, скалы, зеленые вершины и море, Наоми нырнула под мою руку. Она стояла лицом ко мне, касаясь моей груди своими сосками, внезапно затвердевшими, несмотря на жару, под ее мокрой, пахнущей жасмином майкой, и гладила меня ладонями сверху вниз, от затылка, по дрожащей спине, до напряженных каменных ягодиц. Она склонила голову немного вбок и нашла мои губы, открыв свои губы навстречу, и, как змея в бутоне, сверкнул ее влажный язык. А после мы полетели над морем, и было не страшно, хотя голова кружилась, и кто-то пел, играли лютни, сыпались лепестки. Когда я очнулся и приземлился, уже начинало темнеть.

* * *

Самое важное открытие в своей жизни я сделал, когда мне было пятнадцать лет. Я отчетливо помню этот день или, скорее, вечер. Помню место: остановка автобуса, навес и лавка, асфальт, заплеванной семечной шелухой. Название городка я тоже помню, но не буду его называть, чтобы не вызывать лишних, не имеющих отношения к существу моего открытия, ассоциаций. Потому что это могло случиться в любом месте.

Помню, что по поводу своего внезапного прозрения я сочинил стих. И стих помню, но не буду его цитировать, он довольно неуклюж по форме. В стихе обыгрывается метафора — звезды уходящей ночи, падающие в леса, сравниваются с семенами, из которых взойдет заря нового дня. Не помню только, сам сочинил я этот образ или позаимствовал из мифологии каких-нибудь древних племен. Мыслью и стиха, и прозрения было: не стоит жалеть о зря потерянном времени. Потому что любое время потеряно зря. Не бывает никакого непотерянного времени. Никакого хорошо использованного. И так далее. Любое время прошло, а значит — потеряно. Безвозвратно.

И чем бы мы ни занимались, мы всегда одинаково теряем время. С одинаковой скоростью. А больше ничего и не важно. Да, конечно, субъективное восприятие времени разнится, и ласки с любимой девушкой, кажется, длились всего минуту, а прошел час, или, наоборот, в кресле стоматолога пять минут делятся как сутки, и все такое. Но это иллюзия. Время идет всегда с одной и той же скоростью. Мы проживаем, то есть теряем время всегда одинаково: и когда целуемся, и когда лечим зубы. И потом нам не важно, что мы делали, так как и то и другое прошло.

У времени нет никакой скорости, потому что любую скорость мы измеряем во времени, так чем же измерять само время? И никакой относительности нет, все это сказки: про то, что время замедляется при приближении к скорости света. Гипотетический космонавт, летящий со скоростью света, проживет, потеряет то же самое свое время. Свои условные сто лет. И даже если когда он вернется, узнает, что на Земле прошла тысяча лет или более, ему-то что? Он прожил свои сто лет, а не земную тысячу. Все живут свои сто лет: и космонавт, и муравей. Все теряют время одинаково, с одинаковой скоростью. Никакого успеха ни у кого быть не может. Никто никуда не успеет раньше остальных. Все, что мы тут делаем, — это едем к пропасти, вползаем в пасть змеи, и самое обидное, что все с одинаковой скоростью, и не можем ни ускориться, ни замедлиться, ничего мы не можем сделать, поэтому все равно.

Если есть Бог, то в мире Он проявлен как время. Никакого другого Бога тут может и не быть. Да и не нужно. Времени вполне достаточно. Чтобы держать нас под каменной пятой и раздавить, когда оно придет, время. Время — причина всего и время — следствие. Все, что существует, существует только во времени, и только само время существует. Да, только само время существует. Все остальное лишь иллюзия, порождающая скорбь.

Дело в том, что, как бы ты ни жил, как бы ты ни старался, в конце тебе все равно будет мучительно больно за прожитые годы, потому что эти годы целно или бесцельно, но прожиты и их больше нет. И я не верю, когда седой мужчина с довольным лицом поет: «I did it my way». Что типа у него все хорошо, он все исполнил, все делал по-своему и ни о чем не жалеет. И даже вроде уже готов уходить, такой как он есть, довольный прожитой жизнью. Так не бывает.

Видели ли вы, чтобы умирающий с голоду говорил: «Это ничего. Бывало, и я ел! Бывало, каждое утро завтракал! Какие были тосты, какие бутерброды, супы прекрасные и паста с томатами! Все у меня было, а теперь я спокойный умираю». Нет. Прошлое прошло, и он снова хочет кушать, сейчас. Съеденный вчера обед никак не помогает против сегодняшнего голода.

И старый старик, думаете, он удовлетворен воспоминаниями о былой любви? О покойной жене? О прочих разных романтических приключениях? Нет. Он хочет новой любви. Он хочет любви сейчас, а не раньше. Даже если не может уже совсем ничего.

Так и время. Ты никогда не будешь доволен прошлым временем, ты все равно будешь зол на него за то одно, что прошло оно, оставило тебя, а ты его потерял. И количество тоже не имеет никакого значения. Можно жениться на любимой и прожить с ней двадцать лет, а можно провести вместе двадцать минут. Когда эти двадцать лет или двадцать минут пройдут, ты будешь чувствовать одинаковую скорбь. Количество времени не имеет значения. Имеет значение только само время, и его главный закон: оно проходит.

Из этих печальных рассуждений есть один добрый и полезный для психики вывод: жалеть глупо. Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни делал или не делал, время всегда проходит одинаково, и потом ничего не остается. Воспоминания? Воспоминания — это иллюзия. Кто поручится, что это было, если этого уже нет? Могло быть, а могло и не быть. Воспоминания можно забыть. Или придумать.

Мы прожили с Наоми на Капри пять дней.

* * *

Я не считаю вечер того дня, когда мы впервые встретились у кафетерия над Marina Grande. Ночь мы провели в разных номерах одной и той же гостиницы «La Certosella». Утром мы купали босоножки, потом я работал, а Наоми гуляла одна. Это был первый день. Потом мы ночевали, снова в разных номерах. Второй день, мы гуляли вместе, поднимались по La Scala Finicia. На самом верху, на обзорной площадке, она поцеловала меня. Мы вернулись в гостиницу и легли спать в одном номере.

Утром третьего дня Наоми сказала мне:

— Я беременна.

Усмехнувшись, я спросил:

— От Вишвакармы?

Наоми даже не улыбнулась. Она посмотрела на меня очень строго и сказала:

— Дурак. От тебя.

Я взглянул в ее глаза сине-зеленого цвета водорослей, подсвеченные изнутри словно бы отражением солнца, и отчетливо понял, что она не шутит и не обманывает. Но это было невероятно! Ночью между нами ничего не было, мы просто спали без задних ног, уставшие от прогулки. И даже если было, это ведь не случается так, не становится известно сразу наутро? Но нет, не было! Ничего не было!

— Мы целовались, — напомнила Наоми.

— И?.. — непонимающе сказал я.

— У нас все гораздо проще. Поцелуя достаточно. И остальное тоже проходит иначе, чем у вас. Так что ничему не удивляйся и просто слушайся меня, хорошо, милый?

Мы позавтракали вместе в нашем отеле, около бассейна. После завтрака никуда не пошли. Наоми сказала, что ей надо полежать. Мы вернулись в номер. Наоми сказала, что никуда не будет выходить на обед, попросила принести еду в номер. Я отправился в супермаркет, набрал сумку всяческой снеди. Принес, и мы пообедали в номере. Наоми заметно пополнила. После обеда она начала немного капризничать и попросила сладостей. Я отправился в кондитерскую, а когда пришел, моя любимая была уже очень и очень пузатой. Ужин был легкий, с бокалом вина. Около полуночи Наоми попросила меня выйти на балкон. Через несколько минут я вернулся и увидел, что Наоми уже родила. На ее руках пицчала маленькая девочка светящегося золотистого цвета. Она подала ребенка мне. Я взял сначала с опаской, но как только прижал к своей груди, ощутил кровное, родное. И навсегда влюбился.

Конечно, я был обескуражен всем происходящим. Но, стыдно признаться, более чем чудесность этих событий, меня волновали низменные проблемы. Например, как я объясню администрации отеля появление у меня в комнате новорожденного младенца? Наоми приказала мне не беспокоиться. И лечь спать. А сама пошла в свой номер. Я лег и на удивление быстро заснул. Я проспал часов до одиннадцати, и разбудил меня стук в дверь. Открыв, я увидел Наоми, держащую за руку прелестного светловолосого ребенка лет пяти в розовом платьице.

— Не волнуйся, я сказала в отеле, что это моя племянница, у меня сестра отдыхает в отеле «San Felice», они с мужем отправились на морскую экскурсию, боялись, что ребенка укачает, и оставили ее со мной. Знакомься, нашу крошку зовут Нина. И нам нужно в магазин, а то у нас очень мало одежды, и к тому же мы быстро из нее вырастаем.

Мы пошли в заprimeченный моей любимой магазин детской одежды одного очень модного и дорогого взрослого бренда. Цены были неприлично высокими. Но Наоми, похоже, не испытывала вообще никакого стеснения в деньгах. Она покупала одежду, не глядя на ценники. По размеру, немного на вырост и сильно на вырост. И еще, она прекрасно лопотала по-итальянски с продавщицами. А я сидел рядом, любовался на свое дитя, на свою жену, собирал покупки и был счастлив. И даже не думал о том, что так не бывает. Почему не бывает? Не бывает, чтобы вот так

все сразу из ничего: Капри, лето, море, любовь, семья, счастье! Нет, я думал. Бывает. Может, это мне сразу за все хорошее, что я сделал в жизни, и за все испытания, которые перенес. У некоторых хорошее случается ежемесячно, понемногу, как зарплата. А у меня все и сразу — джекпот.

Мы занесли покупки в номер, переоделись и все втроем отправились на виллу Тиберия. Шли долго и весело вверх по узеньким каменным улочкам старого Капри, дышали ароматами лета, слушали птиц и смотрели на показывающееся за огородами внизу море. По дороге я успел вспомнить Богданова: подумал, что остров Капри навеял ему мысль о том, что разные исторические и экономические формации не обязательно должны сражаться насмерть одна с другой, а вполне могут какое-то время сосуществовать. В романе «Красная звезда» марсиане рассказывают, что у них такой переход осуществлялся спокойнее, чем на Земле. Капри многим похож на Марс Богданова, на его утопическую «Красную звезду». На Капри история застыла в ярусах. На самой вершине — древняя античность, резиденция римского императора. Далее вниз — Средневековье, католические храмы и монастыри. Еще ниже — магазины, торговцы, суетное Новое Время. А у самого основания, там где порты Marina Grande и Marina Piccola, — современность, с мощными паромы, катерами и яхтами вида high-tech, глобализация, толпы разноцветных туристов — немцы, японцы, американцы, китайцы, африканцы, русские и все-все-все.

Мы вернулись поздно вечером, Нина выглядела лет на семь или десять, Наоми хотела сказать администратору, что это другая ее племянница, старшая сестра предыдущей, и заготовила историю про задержавшихся на яхте папу и маму, которые позвонили и попросили, потому что так редко остаются наедине и... ну вы понимаете. Но никто ни о чем не спрашивал. Полночи мы всей семьей сидели в номере Наоми. Я учил Нину русскому языку. Итальянский она уже знала, на итальянском она говорила с Наоми. И еще на каком-то. Потом мы легли спать. Так закончился четвертый день.

Пятый день был днем расставания. Но я об этом не знал. Я проснулся счастливым. С таким ощущением чистого и беспредельного счастья я не просыпался со времен далекого детства. Едва очнувшись от легкого и спокойного сна, я подумал о том, что у меня есть Наоми и Нина, а значит, у меня есть все, что мне нужно. Я полетел к ним в номер, постучал, и мне ответил голосок почти взрослый: «Подождите, я одеваюсь!» Когда дверь открылась, я увидел подростка, почти девушку, лет пятнадцати. Она была ослепительно красива. Так, что хотелось зажмурить глаза. И она сказала: «Доброго утра, папа!»

Когда ко мне подошла Наоми, встала за моей спиной и обняла меня за плечи, а наши взгляды слились в один, направленный на дитя, я, ошеломленный, только и смог сказать: «Это невероятно, этого не может быть, но она еще красивей, чем ты!» И Наоми рассмеялась, как звенит серебряный колокольчик в храме или щебечут птички в райской южной стране.

Мы отправились на завтрак в ресторан. Нина вела себя за столом как какая-нибудь кастильская принцесса! Хотя о чем я говорю, кастильские принцессы в XII веке наверняка ели мясо руками. Наоми и Нина ели только зеленые овощи, фрукты и пили нектар. После завтрака Наоми стала озабоченной и деловитой. Сказала, что нам нужно осмотреть весь остров. Мы спустились в вагончике фуникулера в порт, наняли катер и объехали весь остров по округности. Это заняло часа три. Наоми пристально вглядывалась в берега, а Нина улыбалась и росла. Мы сошли на берег в том же месте, где начинали путешествие, и вернулись наверх.

Неисследованные места острова нам предстояло найти пешком. Мы пообедали в еще одном ресторане и отправились в дорогу. Капри прекрасен тем, что здесь нет автомобилей. Дороги, пригодные для автотранспорта, есть только внизу, между Капри и Анакапри, и в самом Анакапри. А Капри состоит из тесных улочек, где автомобилю никак не протиснуться. Поэтому можно ходить только пешком. И нет шума моторов. Это чудесно. Иногда только специальный электрокар с тележкой везет багаж туристов до отеля. Но и он не шумит, жужжит только электродвигателем да шелестит шинами по дороге.

И вот мы дошли до того места, которое искала Наоми. Грот Кибелы. Пещера, где в античности был храм богини. Наоми была возбуждена. Она ходила вдоль стенок и даже выстукивала их. А Нина забралась на возвышение, возможно, алтарь или жертвенник, и просто села там. Мне показалось, что полумрак пещеры рассеялся исходящим от Нины золотистым свечением, и зазвучал хор, поющий гимны на незнакомом языке, и запах цветов, масла, дыма проник в ноздри, вскружил голову, и я чуть было не упал в обморок.

А может, я и упал в обморок. Потому что я не помню, что было дальше. А помню только то, как мы уходим от пещеры, а мои жена и дочь поддерживают меня под руки. Наверху, рядом с тропинкой, ведущей к пещере, стоит небольшое кафе, там мы выпили кофе, и я пришел в себя.

У Богданова в «Красной звезде» похожий сюжет. Герой влюбляется в марсианку. Любовь взаимна, но герой оказывается не готов к интеграции в марсианское общество, построенное по идеалам

коммунизма, «богдановского» коммунизма, конечно. Героя разлучают с марсианкой и возвращают на Землю. Но марсианка продолжает незримо участвовать в его судьбе и спасает от смертельной опасности.

Моя Наоми тоже была инопланетянкой, но в ином смысле. Насколько я понял, она имела отношение к древним богам и к их обителям — райским планетам. Она спустилась на Землю, чтобы родить дочь, так как там, в раю, есть все, кроме рождения новой жизни. Райские жители сколько угодно могут заниматься любовью, но они не рожают детей. Потому что рождение, как и старение, болезни и ужасная, внезапная смерть, — печальная прерогатива нашего мира. Когда необходимо «пополнение», граждане рая спускаются к нам, вступают в союз со смертными существами и производят здесь потомство, имеющее божественное происхождение.

Вот как вкратце объяснила мне нашу связь моя возлюбленная, Наоми. Она сказала, что выбрала Капри для быстрой акклиматизации, потому что Капри — место на Земле, самое близкое к раю. И еще потому, что здесь надлежало исполнить миссию: прежняя Кибела устала и попросилась на небо. Нужна была новая богиня. И новой богиней станет наша дочь Нина.

Наоми сказала, что Нина останется на острове. Все необходимые формальности улажены. У Нины есть итальянский паспорт, она гражданка по рождению, ее родители недавно умерли здесь, на Капри, оставив дочери в наследство небольшой обувной бутик и дом с участком земли на склоне холма, вдоль дороги к вилле Тиберия. Она будет работать в магазине, руководя сменными продавщицами, и водить экскурсии по острову. Она никогда не выйдет замуж, потому что ей не нужны смертные мужчины. Она не состарится: достигнув «возраста» девятнадцати лет, она останется такой навсегда. Чтобы не смущать людей, каждые двадцать лет она будет менять свои имя и паспорт, «становясь» собственной племянницей. Люди, которые ее будут знать близко, подвергнутся влиянию ее майи, волшебной иллюзии, и ничего не заподозрят.

В особые ночи Нина будет приходить в грот и вставать на алтарь Кибелы. Здесь, на Капри, живут ее жрецы и поклонники. Они работают лодочниками, экскурсоводами, некоторые владеют отелями и магазинами. Говорят, что и сам мэр числится в тайном обществе. В условленное время они облачаются в белые одежды и собираются в гроте, чтобы почтить Кибелу, дарующую богатство и процветание островитянам, и не только им. Потому что боги нужны — здесь все так работает. Природа — совершенный механизм, однако и самые лучшие машины управляются операторами.

Никакая организация материи немислима без организаторов, и за каждым безличным проявлением, таким как солнечный и лунный свет, смена сезонов, морские ветра, грозы, притяжение, судьба, — за всем стоят личности.

Наоми сказала, что она возвращается. И я должен покинуть Капри. Так надо. Сегодня мы все расстанемся навсегда. Я вел себя малодушно. Я плакал, упрашивал Наоми не покидать меня. Торговался, пытался вымолить разрешение видиться с дочерью. Просил дать надежду на то, что мы встретимся в будущем. Шантажировал, грозился покончить с собой. И так далее. Нелепая истерика взрослого мужчины. Мне стыдно об этом вспоминать, но вряд ли я мог иначе.

Все должно было случиться на закате. Мы встречали закат на вилле Lysis Fersen. На вилле Fersen самые красивые закаты Европы. Кажется, у них есть соответствующий слоган. Если нет, то стоит внедрить. Действительно, очень красиво. Солнце садится на вершину горы соседнего острова названием Искья, словно бы зажигая гору огнем вулкана. И медленно погружается в жерло.

Мы стояли на балконе. Наоми и Нина держали бокалы красного вина, Наоми в правой руке, Нина — в левой. Я держал их за руки, Наоми — за левую руку, а Нину — за правую. Но это не помогло. Когда от вершины горы до балкона протянулся последний закатный луч, Наоми пролила вино на землю и встала на дорогу из света. Она удалилась вместе с лучом, небо вобрало ее в себя, как жемчужину на кончике щупальца. Я протянул к Наоми обе руки, а когда обернулся, Нины уже не было. Нина стояла на другой стороне виллы и махала мне рукой. Потом она исчезла.

Я собрал чемодан и следующим утром сел на паром до Неаполя. Вот и все. Больше у меня не было любви. Земные женщины мне совершенно неинтересны.

* * *

Посторонний наблюдатель мог заметить, что к концу рассказа с мужчинами случилась странная метаморфоза. Теперь старый уже не казался ведущим в этой паре, бывалым, утешающим своего молодого спутника. Напротив, он сам искал сочувствия и поддержки. Молодой же стал спокоен и серьезен и словно забыл о своих проблемах, если они у него были. Объявили начало посадки на рейс до Неаполя.

— Мне пора, — сказал старый.

— Снова в Неаполь? — сказал молодой.

— Да, а из Неаполя на пароме до Капри. С тех пор каждый год. Я провожу там одну неделю. Брожу по городку, заглядываю

в лица. Я хочу увидеть Нину, хотя бы мельком. Я ничего не буду ей говорить. Просто постою, посмотрю на нее. Больше мне ничего не надо. Я знаю, что она меня не забыла. Она всегда рядом, она помогает в делах, она посылает мне удачу, но в меру, чтобы я не пал жертвой людской зависти и злобы. Она заботится обо мне. И я благодарен ей, но я не хочу знать ее как богиню, я хочу увидеть ее как свою дочь. И еще я мечтаю встретить Наоми.

— Понятно, — сказал молодой.

— К тому же у меня на Капри есть дело. Я пишу книгу. Про Богданова, Горького, Ленина. Про идеи и революции, про вулкан, зародившийся на острове невулканического происхождения. Про то, как райский остров Капри повлиял на судьбы русской цивилизации.

Молодой проводил старого до выхода. Отстояли очередь вместе, а когда старый, показав билет, скрылся в коридоре, молодой развернулся и пошел к табло посмотреть, у какого выхода его собственный рейс до Мадрида. Посадка на Неаполь заканчивалась. Мимо молодого процокали каблучками две девушки, вероятно, очень красивые, их лица наполовину закрывали шляпки. Услышав обрывки разговора, молодой удивился: девушки выглядели одинаково юными, лет девятнадцати, но одна называла другую мамой. Они спешили к самолету в Неаполь.